

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Институт гуманитарных наук и искусств
Кафедра русской литературы

Жанровый состав и стилевая палитра творческого наследия Д. Н. Мамина-Сибиряка

**Хрестоматия текстов и методические рекомендации
в помощь учителю-словеснику**

(составители О. В. Зырянов, Л. М. Слобожанинова)

**Екатеринбург
2012**

Хрестоматия текстов

РАННИЙ БАТЮШКА

I

Ранняя обедня кончилась в седьмом часу. По летнему времени богомольцев было совсем мало, и староста Семен Ефремыч кивком головы показал о. Ивану на две кучки медяков, стоявших отдельно на его старостинском прилавке: это была вся лепта пастырю.

— Что же, и это деньги, — заметил с улыбкой о. Иван.

Псаломщик Кононов был другого мнения и хмуро молчал.

— Ничего, потерпите до осени, батюшка, когда народ соберется в Москву со всех сторон, — утешал староста, подсчитывая свою свечную выручку. — Летом-то у нас в Москве, как в угарной избе... Мода завелась на дачи разъезжаться. Ну, господа по именьям да по дачам, а за ними моду приняли и другие млекопитающие народы... На что наши купцы, и те на дачи потянулись. Вот и не стало кому Богу молиться.

О. Ивану нравилось, как говорил Семен Ефремыч — обстоятельно, рассудительно. Ему было под шестьдесят, но для своих лет он замечательно сохранился, и в бороде едва сквозила старческая седина. Одевался он по старинному — в длиннополый сюртук, шею туго заматывал шелковой» косынкой, носил сапоги бутылками и суконный картуз. У него где-то была железная торговля около Ильинки, и через псаломщика о. Иван знал, что Семен Ефремыч человек с капиталом, хотя и скрывал последнее обстоятельство. Вообще человек обстоятельный, строгий и богомольный. Между прочим, о. Ивану нравилось в нем больше всего то, что он походил на одного рязанского купца, которому он продавал хлеб.

— Ничего, подождем, — еще раз согласился о. Иван.

Старосте, в свою очередь, нравился о. Иван как настоящий деревенский батюшка. Древний человек, за семьдесят годов, а не хочет чужой хлеб есть. Нравился Семену Ефремычу и покладистый характер о. Ивана, и его добродушие, и даже костюм — вот этот старый-старый подрясник с заплатками на локтях и выцветшая люстриновая ряса, по оплечью вся рыжая, и разношенная, широкополая, настоящая поповская шляпа, и деревенской работы тяжелые сапоги. Не то, что московские шелковые попы, которые носят по-штатски, на выпуск, крахмальные воротнички и совсем гражданские шляпы.

— Сынка скоро поджидать будете, о. Иван? — проговорил Семен Ефремыч, когда о. Иван протянул руку проститься.

— Не скоро еще, Семен Ефремыч. За границу он уехал.

— Человек известный по Москве и даже весьма... В коляске ездит и собственного рысака имеет. У кучера на спине часы... Все в аккурате, как следует настоящему барину.

О. Иван улыбался и вздыхал, когда говорил о сыне. Давненько он не видал его, лет с двадцать, пожалуй, теперь и не узнать... Когда старик вышел из церкви, псаломщик Кононов улыбнулся.

— Нечего сказать, хорош сынок, — заметил он, — сам па рысках жарит, а родитель на своих на двоих...

— Не наше это дело, — строго ответил староста. — Удивляюсь только одному, сколько в тебе этой самой злости... Ну, какое нам дело?

Я так, к слову... Старику уж пора на покой.

И то на покое. Свои тридцать пять лет выслужил и пенсию получает...

Псаломщик фыркнул.

— Хороша пенсия: три с полтиной в месяц. Хорошую курицу впору накормить!

— А много ли старичку нужно? — заговорил староста, рассерженный этим глупым смехом. — Он еще в силе и вполне может для Господа Бога потрудиться.

О. Иван, выходя из церкви, всегда останавливался на паперти и из-под руки смотрел на Москву. Церковь стояла на пригорке, и весь город был как на ладони, с его глубоким переплетом улиц, каменными глыбами громадных новых домов и бесчисленными церквями. Сейчас светило яркое летнее солнце, и над городом сгущалась пыльная, тяжелая мгла. Деревенский старичок-священник был в Москве в первый раз и не мог насмотреться.

— Благодать! — шептал он восторженно.

После службы о. Иван не торопился к чаю, хотя самовар уже ждал его на столе. Он нарочно делал крюк по бульвару, чтобы пройти мимо того дома, в котором жил его сын. Дом был отличный, недавно построенный, со всеми прихотями богатого московского барства. С бульвара о. Иван сворачивал на тротуар, чтобы пройти мимо подъезда и прочитать прибитую к массивным дубовым дверям дощечку: Сергей Иванович Августов. Это удовольствие можно было позволить себе только рано утром, пока не было в соседнем подъезде усатого и толстого швейцара. Раз он поймал отца Ивана на месте преступления и строго спросил:

— Вам кого нужно, батюшка?

— А я так... да...

— Сергей Иванович за границей... Может, вы по делу?

— Да, есть маленькое дельце, только оно успеется...

Швейцар иронически посмотрел на раннего батюшку и отвернулся.

Про себя о. Иван называл этот дом «Сережиным домом» и часто любовался им. Уж где же и жить умным людям, как не в Москве? Вот Сережу и Степан Ефремыч знает, и швейцар, и городской на углу бульвара. Самую Москву о. Иван особенно любил потому, что в ней жил Сережа. Здесь он учился, здесь начал служить и здесь вышел в люди. Одним словом, Москва его сделала настоящим человеком.

— Остается еще сорок семь ден, когда придет Сережа, - считал он, подходя к своей квартире в одном из кривых переулков, как ручейки впадавших в Поварскую. — Да, скоро...

Приехав в Москву, о. Иван не решился остановиться прямо у сына, чего ему не советовал и племянник отец Георгий, молодой да из ранних, академик и законоучитель в женском институте. О. Георгий уезжал на лето на Кавказ отдохнуть и пригласил старика-дядю заменить пока его, тем более, что состоявший раньше при их церкви ранний батюшка скончался, и его место оставалось свободным. По указанию о. Георгия, старик остановился у просвирни Анны Александровны, приходившейся ему какой-то родственницей по жене отца Георгия. Старушка жила в церковном доме и рада была жильцу. Все же не одна, да и заработает малую толику, а может, о. Иван и совсем останется в Москве, — тогда еще будет лучше.

Самовар, действительно, кипел на столе, когда о. Иван вошел в свою комнату.

— Бог милость прислал, Анна Александровна, — поздоровался о. Иван, снимая рясу и смахивая с нее платком пыль.

Покорно благодарю, о. Иван, — певуче ответила старушка из соседней комнаты, где управлялась у русской печи.

Это была худенькая старушка, по-старинному повязывавшая голову темным старушечьим платком с белыми горошинами... Сморщенное, потемневшее лицо глядело еще живыми глазами, и его портил только беззубый, ввалившийся рот. У Анны Александровны вечно что-нибудь болело, и она вечно лечилась какими-то домашними таинственными средствами. К ней часто заходили такие же старушки, страдавшие такими же болезнями. Они пили вместе кофе с гуцей и делились московскими вестями. А Москва велика, было о чем поговорить. Может быть, даже репортеры московских газет не знали так Москву, как вот эти старушки, которым, кажется, и дела-то ни до кого не было. Приехавший из Рязанской губернии о. Иван служил тоже темой для самого тщательного исследования, и его прошлое, настоящее и будущее было подвергнуто беспощадному анализу. Кстати были наведены

самые подробные справки и относительно Сережи, причем знаменитый московский делен не был одобрен.

II

Напиться после обедни чайку для о. Ивана представляло величайшее наслаждение. А тут еще и просвирка московская, белая, мягкая, душистая. Усаживаясь к своему столику у окна, старик чувствовал себя как будто дома, хотя дома чай был не всегда, особенно когда учились дети и когда приходилось беречь каждый грош. А тут хоть весь самовар выпей один...

— Анна Александровна, чайку чашечку? — проговорил о. Иван, вытирая пот «с чела» после третьего стакана.

— Сейчас...

Старушка успела управиться со своей стряпней и знала вперед, что ранний батюшка пригласит ее «на чашку чаю». Она наскоро приделась и вышла.

Садитесь, пожалуйста, матушка.

— Благодарю покорно.

— А уж чайку налейте сами, милая... Как-то не привык я к этому, да и не мужское это дело... Бывало, покойница-жена все делала сама. И все говорила покойница: «Вот выслужишь пенсию, тогда к сыну в Москву поедem». А Господь и не привел... Мысли-то за горами, а смерть за плечами...

— Уж пять лет, как матушка кончилась? То-то, поди, тосковала, что не увидит сына! Один ведь он у вас, как перст.

— Что делать, так Богу угодно...

— Это уж действительно... А все-таки жаль.

Анна Александровна пила чай вприкуску и каждый раз поворачивала выпитую чашку вверх дном. О. Ивану, несмотря на всю его деревенскую простоту, казалось, что она как будто чего-то не договаривает, хотя ему и было приятно, когда заходил разговор о Сереже.

Две с половиной тыщи за квартиру платит, — рассказывала Анна Александровна. — Да... Нельзя, потому как женился он на внучке князя Ашметьева. Настоящий был князь, и Сергею Иванычу нельзя себя оказать ниже. Строгая дама Варвара Петровна и весь дом держит в струне. Сама-то она больше за границей проживает, на теплых водах, все лечится, а дома правит старая нянька, старуха девяноста лет. Грушей ее звать... Злющая старуха. Ну, а Сергей Иваныч больше по своим делам.

О. Иван слушал все, немного склонив голову набок. Не любил он этих бабьих пересудов и бабьих шепотов.

— Добрый Сергей-то Иваныч, — не унималась Анна Александровна. — Да и дома-то только спит... А у меня есть знакомая этой самой Груши, жена, значит, старшего дворника, Гаврилы Ермолаича. На вестях все дело, как, и что, и к чему.

Не нравились подобные разговоры о. Ивану, и он старался отмалчиваться. Удивительно только, откуда все это бабы визнают. Как на блюдечке поднесут всю подноготную.

Анна Александровна заметила, что сегодня о. Иван как-то особенно упорно молчал, хмурил брови и моргал глазами. Кажется, уж она-то его не обидела. Сделайте милость, для него же хлопотала, а он фыркает...

— Перед вами служил отец Яков ранним батюшкой, — тянула Анна Александровна. — Конечно, не мое дело, а вышло такое же подобное... Значит, у него была дочь, ну, вышла замуж за аптекаря...

— Достоуважаемая Анна Александровна, оставьте! — просил о. Иван. — Не наше дело... Из семьи сор не выносят... А что касается Сережи, так ведь я его двадцать лет не видал.

Вот, вот, и там так же было! Тоже двадцать лет... А старик приедет — дома нет, напишет письмо — ответа нет. Москва матушка, кого хочешь, того и затемнит. Исступление ума...

Сегодня, как и всегда, эти разговоры кончились о. Георгием. Анна Александровна расписала его в лучшем виде, как нового батюшку, который все по-новому делает.

— Сама из духовного звания и могу вполне понимать, что и к чему, — уверяла старушка. — Родной человек, а только не то... Ласковый, приветливый, вот-вот на мелкие части рассыплется... А все не то. Ученый он, умный, а прежде как будто и лучше было.

У Анны Александровны на всякий случай был свой пример. «Вот точно такой случай вышел на Таганке», и т.д. «А в прошлом году на Замоскворечье один купец тоже рыбной костью подавился, а в Грузинах одна дьяконица тройню родила». Конечно, ближе всего для Анны Александровны были интересы своего духовного круга, и она наперечет знала почти всех московских попов и дьяконов.

— Ох, уж наши московские-то попы! И не выговоришь, — повторяла она качая головой. — Ну, которые старики, так те по-правильному живут, по старине... А вот молодые-то, так и не применишь их ни к чему. Ведь совсем молодой, а глаза-то все ищут, все ищут... И все-то им мало, и ничего-то они не боятся. Прежде, бывало, где-нибудь на Пречистенке или на Поварской в настоящем барском доме попа и сесть не пригласят, а наш отец Георгий очень даже свободно спорится с самыми настоящими господами. Совсем бесстрашные попы начались... А службу все полегче стараются сделать, чтобы барынь не утомить. Прежде протопопы по пятым этажам ходили с молитвой, а нынче все ранние батюшки за них службу по приходу служат. Ну, а раннему батюшке какая цена: дали ему рубль, а то и полтину.

Благодаря женской болтливости хозяйки, о. Иван в течение какого-нибудь одного месяца знал московское духовенство обстоятельно, точно жил всю жизнь в Москве. Конечно, почтенная Анна Александровна иногда увлекалась и страдала слабостью украшать слог за свой личный счет, но и за вычетом этих вставочных элементов получалась яркая и характерная картина. Раздумавшись о собственном прошлом, о. Иван только вздыхал. Ох, сколько он всякой беды хлебнул на своем веку! Приход бедный, народ голодный, только и выручала своя крестьянская работа. Поработал в свое время и Сережа, когда приезжал на каникулы домой. Очень даже хорошо косил. А тут в Москве совсем другое. Впрочем, о. Иван не желал завидовать другим, считая это грехом.

— Нет, не ропшу, Анна Александровна, — говорил он. Если бы пришлось родиться снова и выбирать службу, — опять пошел бы в свою Рязанскую губернию.

Сегодня велись за чаем обычные разговоры, и, когда все уже было кончено, Анна Александровна вдруг спохватилась.

— Да что же это я? Последнего ума решилась, старуха... Да не глупая ли! Даве бегу утром в мелочную лавку, а в воротах чуть лбом не стукнулась с почтальоном, а он мне письмо подает. Ни от кого я писем не получалась отродясь и даже испугалась. А письмо-то вам, о. Иван... Ах, я, глупая, глупая!

О. Иван тоже не получал писем по целым годам и сильно взволновался. Как на грех, письмо куда-то запропастилось, и Анна Александровна едва его нашла.

— Вот оно, о. Иван... Ах, какой грех вышел!

По привычке старых людей, о. Иван предварительно осмотрел письмо с внешней стороны, потом надел круглые очки в медной оправе и ножичком вскрыл конверт. Письмо было от о. Георгия, который извещал из Кисловодска, что Сергей Иванович из-за границы приехал туда лечиться и скоро вернется в Москву, куда его «призывают дела».

— Что же сам-то Сергей Иванович не написал? — заметила Анна Александровна. — Слава Богу, грамотный. Отец Георгий страсть любит письма писать.

О. Иван ничего не ответил, а только поджал губы и подавленно вздохнул. Он рассердился на неуместное вмешательство Анны Александровны в его личные дела. Какое ей дело до Сережи? Человек, может быть, по горло завален срочной работой, а он, о. Иван, подождет. Некуда торопиться.

III

Лето прошло быстро, наступала осень, а Сергей Иванович все еще не вернулся в Москву. На Кавказе все лето он пил какие-то воды, а осенью приехал в Крым, чтобы провести сезон в Ялте. О. Георгий приехал в августе и много рассказывал о Кавказе. Это был совсем еще

молодой священник, любезный и ловкий. О. Иван почему-то его побаивался, как вообще всю жизнь боялся всякого начальства. Одно уж то, что о. Георгий кончил академию, чего стоило. О. Иван едва кончил в семинарии философию и на этом основании чувствовал себя перед академиком сущим ничтожеством. Помилуйте — академик... Может быть впоследствии архиереем, хотя Анна Александровна в последнем и сомневалась.

— Сергей Иванович скоро приедет, — утешал о. Георгий своего старика-дядю. — Ему нужно отдохнуть после зимней работы. Человек громадного ума, и нервы начинают пошаливать...

— А что такое нервы, отец Георгий? — недоумевал о. Иван. — Какая-нибудь новая, модная болезнь?

— Сие можно понимать двояко, дядюшка: и болезнь такая есть, с одной стороны, а с другой... Видали вы ребячью игрушку, паяца, как он прыгает на ниточках? Вот и в человеке проведены такие же ниточки, и он тоже прыгает, когда его потянут за такую ниточку.

О. Георгий старался выражаться понятнее и любил прибегать к сравнениям. На старого деревенского попа он смотрел, как на большого ребенка.

В течение трех-четырех месяцев о. Иван «вызнал» Москву, и чем дальше подвигалось это знание, тем страшнее ему делалось. Господи, как страшно живут люди! По обязанностям священника ему приходилось посещать и барские палаты, и купеческие хоромы, а главным образом, конечно, подвалы и чердаки, где ютилась столичная бедность и где его духовная помощь была особенно нужна. Много он насмотрелся на своем веку на деревенскую бедность, но это было не то. Там, в деревне, оставалась какая-нибудь надежда впереди, а здесь не было даже завтрашнего дня. Рядом безумная и бессмысленная роскошь и рядом безнадежная нищета. Каждый громадный московский дом начинал казаться о. Ивану каменным чудовищем, которое давило эту подвальную бедность своими богатыми этажами. Какие слезы он видел, какое горе, какую безысходную нужду! И это в каждом доме, на каждой улице. А больше всего старика удивляло то, что богатые люди относились к окружающей их бедности совершенно безучастно. Один почтенный старичок откровенно объяснял о. Ивану, что ведь всем не поможешь.

— Никакого капитала не хватит, батюшка. Каждый уж сам о себе должен заботиться.

— Да, конечно... — соглашался о. Иван, хотя по-своему и думал совершенно иначе.

Он как-то перестал понимать многое, что творилось у него сейчас перед глазами, и даже начал сомневаться в том, правильно ли идут его собственные мысли. Может быть, купец и прав... Пробовал о. Иван заводить разговоры на эту тему со старостой Семеном Ефремычем, как настоящим коренным москвичом, но тот отделивался неопределенными ответами.

— Не нами вся эта музыка налажена, о. Иван, не нами и кончится... А промежду прочим все мы, действительно, люди весьма грешные...

Подумав немного, Семен Ефремыч прибавлял уже другим тоном:

— И все мы помрем, о. Иван, а только мало кто об этом самом имеет свое понятие...

Староста постоянно думал о смерти, и эта мысль преследовала его в разных формах.

На своей службе о. Иван познакомился с другими ранними батюшками, которые служили, как и он, ранние обедни. Все это были сельские священники из смежных губерний, выслужившие свой пенсионный срок, и большинство из них — бобыли. Сельские матушки перемерли, оперившиеся попovichы и поповны разлетелись в разные стороны, старые гнезда опустели... Приходилось кормиться в Москве на подножном корму. Все эти ранние батюшки походили один на другого, как монеты одного чекана, и все даже одевались одинаково, — те же выцветшие люстриновые ряски, те же подрясники с заплатами, те же деревенской работы тяжелые сапоги. В общем, выражаясь техническим языком, это был отработанный пар сельского священства, добре потрудившийся па родных нивах и словом и делом.

Ранние батюшки, встречаясь, любили поговорить и вспомнить старину. «А вот у нас в Тульской губернии были приходы — умирать не надо». — «А наша Калужская губерния плохая» и т.д. Старики вспоминали свои покинутые гнезда, вздыхали и подолгу говорили о том, как будут люди после них жить. Квартиры — приступу нет, дрова — не подходит, харч

— страшно и подумать, за все подавай круглую копеечку, да все купи. По деревням и то везде смута идет, всякий хочет лучше другого жить; да еще похвастаться, вот, мол, какие мы есть отличные люди. В этих разговорах доставалось и Москве-матушке.

— Весь разврат из Москвы идет, — судачили батюшки. — В Москве дрова рубят, а в деревню щепки летят...

О настоящих московских ионах старики говорили редко, когда придется к слову. Они все были в прошлом и скоро узнали всю подноготную друг друга. Кто где служил, сколько было детей и где пристроены, когда и от какой болезни умерла матушка, и т.д. У каждого находилось какое-нибудь домашнее застарелое горе, своя забота и свои надежды. Эти старческие надежды были особенно трогательны... Кажется, уж и надеяться не на что, а люди все надеются.

— Вам хорошо, о. Иван, когда у вас в Москве сын, — откровенно завидовали батюшки. — Вот приедет с кислых вод, и, даст Бог, устроитесь...

— Еще неизвестно, как он меня примет, — скромничал о. Иван. — Давно не видались...

— Уж примет... А вот у нас так никем никого нет, ну, значит, некому и принимать. Ваш-то сыночек известный человек в Москве, и даже в ведомостях о нем пишут, что вернулся, мол, из-за границы Сергей Иванович Августов.

Из ранних батюшек о. Иван особенно близко сошелся с о. Евгением, из Владимирской губернии. Это был такой же тихий и скромный старичок, как и о. Иван. Раз о. Иван пригласил его на перепутье к себе выпить стакан чаю. Но о. Евгений как будто смутился и даже спросил:

— Удобно ли сие будет?

— То есть как это — удобно?

— Ведь не у себя дома живете, о. Иван...

Это подозрение оправдалось в самой яркой форме. Анна Александровна «сочинила» настоящий бунт. Во-первых, она удивительно долго ставила самовар, во-вторых, все время что-то ворчала себе под нос и, в-третьих, проявила какую-то строптивость и даже грубость.

— Вы не совсем здоровы, Анна Александровна? — спросил смущенный о. Иван, проводив гостя.

— А вы думаете, отец Иван, что у меня постоянный двор, и что всякая коричневая дрянь может ко мне лезть?

— Позвольте, Анна Александровна!

— Нет, уж вы позвольте о. Иван! Вы этак со всей Москвы соберете ранних батюшек, и я должна всем самовары ставить? Извините, пожалуйста! У меня муж хоть и был только дьякон, так он семинарию кончил и в провинции мог бы быть благочинным, но не пожелал. И я стану прислуживать каким-то деревенским попом!

Одним словом, всегда вежливая и по-видимому, очень добродушная старушка «расхорохорилась» ни с того, ни с сего и огорчила о. Ивана до глубины души, главным образом тем, что попрекнула ранних батюшек деревенщиной и проявила специально-московскую гордость духа. О. Иван почувствовал себя в Москве совершенно чужим человеком и невольно вспомнил свою родную Рязанскую губернию.

— Это в ней Москва отрыгнулась, — объяснял себе о. Иван поступок Анны Александровны. — И даже весьма неделикатно отрыгнулась... А, впрочем, скоро приедет Сережа, да и свет не Анной Александровной сошелся, как клином. Бог с ней вообще...

Но этим дело не кончилось. Встретившись с о. Евгением, о. Иван почувствовал, что старик как будто обиделся и как будто сердится на него же. А при чем же он тут?

IV

Он наконец приехал...

Это известие принесла Анна Александровна от о. Георгия, который в «ведомостях» вычитывал приезды всех высокопоставленных лиц, знаменитых врачей и разных дельцов.

Анна Александровна страшно волновалась и имела какой-то заискивающе-сконфуженный вид.

— Уж вы меня, о. Иван пожалуйста, извините! бормотала она виноватым голосом. — Известно, слабая наша женская часть... Не удержишься и сболтнешь лишнее.

— Да вы о чем, достопочтенная Анна Александровна?

— А как же... ну, тогда, когда привели вы этого отца Евгения.

— Ах, да... Оставимте сие! Кто старое помянет, тому глаз вон.

В порыве раскаяния Анна Александровна даже поцеловала руку у о. Ивана, а затем быстро принялась снаряжать его в поход. Из чемодана был вынут новый люстриновый подрясник и новая люстриновая ряска, которые о. Иван надевал только в первый день Пасхи.

— Вот и отлично, — одобряла Анна Александровна. Хоть и сын, а порядок прежде всего... Тоже и его не нужно конфузить. А сноха-то все рассмотрит бабьим делом...

Одевшись во все новое, о. Иван в каком-то изнеможении присел на стул и проговорил:

— Не лучше ли будет, если я пойду к Сереже завтра?

— Нет, нет! Что вы говорите, о. Иван! Сейчас нужно идти, и я даже провожу вас до самого дома. Пока вы там будете, я подожду вас на тротуаре...

Последнее предложение о. Иван отклонил, но, движимая неистовым женским любопытством, Анна Александровна все-таки пошла за ним. Конечно, сделала она это незаметно и следила за жильцом издали. О. Иван шел мелкой стариковской походкой, не оглядываясь. Было уже одиннадцать часов утра. Сеял мелкий осенний дождь. Поравнявшись с «Сережиным домом», о. Иван остановился в нерешительности перед подъездом и... зашагал дальше. Это малодушие возмутило Анну Александровну до глубины души. Что он, в самом-то деле, сына родного боится, точно идет к архиерею!

О. Иван, действительно, предался малодушию. Ему казалось, что все прохожие наблюдают за ним, а швейцар из соседнего подъезда смотрит на него как будто насмешливо. Дойдя до угла улицы, о. Иван остановился, подумал и решительным шагом вернулся назад. Он смело миновал швейцара и смело позвонил у заветного подъезда. У него захолонуло на душе, когда послышались шаги и дверь приотворилась.

— Вам кого нужно? — довольно грубо спросил представительный лакей во фраке, оглядывая о. Ивана с ног до головы.

— Мне Сережу... то есть Сергея Ивановича... Он дома?

— Да, дома... Как о вас прикажете доложить?

— Да как доложить... Скажите, что отец из Рязанской губернии приехал.

Лакей сразу изменился и уже другим тоном проговорил:

— Вот пожалуйста, батюшка, сюда в приемную, я пойду доложить...

Приемная Сережи представляла громадную комнату, убранную с деловой роскошью. Стены были оклеены темными, тисненными под кожу обоями, массивная мебель из черного дуба обита темно-зеленой кожей, громадный вычурный стол походил на бильярд, а стоявшее за ним еще более вычурное кресло походило на архиерейское «место» где-нибудь в алтаре кафедрального собора. Несколько шкапов с книгами, большая картина на стене, по углам две мраморных статуи, на полу громадный персидский ковер — все было устроено на настоящую барскую ногу. О. Иван не смел даже присесть и стоял посреди приемной, повертывая свою разношенную поповскую шляпу. Его внимание было приковано к открытой двери, в которую вышел лакей, и в которую можно было рассмотреть другой кабинет, устроенный с еще большей роскошью.

«Двадцать лет не видались...» — думал старик, припоминая последнюю карточку Сережи, где он снялся пятидесятилетним мужчиной с двумя учеными значками на правом борту сюртука.

Где-то слышались шаги и чей-то шепот. Пустивший о. Ивана лакей пробежал по второму кабинету с встревоженным лицом, потом в дверях показалось сморщенное старушечье лицо, потом послышались опять шаги и шепот. Очевидно, появление о. Ивана всполошило весь

дом, и старик пожалел, что сгоряча послушался совета Анны Александровны. Нужно было сначала послать письмо, предупредить, а потом уж идти.

Суматоха в доме продолжалась, а о. Иван еще все стоял посреди комнаты со своей шляпой ждал. Прошло всего несколько минут, но они показались ему часами. Наконец в дверях показалась пожилых лет дама, полная и обрюзглая, в роскошном утреннем капоте из термаламы, и без церемонии начала рассматривать о. Ивана в лорнет на черепаховой ручке. Старик узнал в ней жену Сережи, как она была снята на фотографии, и почтительно поклонился. Но таинственная дама даже не ответила на поклон, повернулась и ушла.

«Должно быть, я ошибся», — сообразил о. Иван, смущенный невежливостью таинственной дамы.

Лакей появился неожиданно из другой двери, так что о. Иван вздрогнул.

— Извините, батюшка... да... Я ошибся, Сергея Ивановича сейчас нет дома. Я уходил из дому, когда они вышли...

— Так я в другой раз... Я напишу ему письмо... — бормотал о. Иван, направляясь к выходу. — Да, напишу... До свиданья! Извините, что обеспокоил вас...

— Помилуйте, батюшка, какое же беспокойство! А только я выходил, значит, из дому, а барин в самый этот раз и выехали куда-то по делам. Делов у них тьма, ну и редко даже дома кого принимают...

О. Иван машинально перешел через улицу на бульвар, где и встретился с Анной Александровной, которая поджидала его, несмотря на дождь.

— А, вы здесь... — рассеянно проговорил о. Иван.

— Ну что? Как? Что так скоро?

— А Сережи нет дома...

— Как нет дома?! Да вот он стоит у окна и смотрит на нас... Ах, бесстыдник!

Когда о. Иван обернулся, то, действительно, увидел стоявшего у окна сына, который сейчас же спрятался за косяк.

— Да, да... это он, Сережа... — бормотал о. Иван. — Он был дома и спрятался!

Мелкие старческие слезы потекли по сморщенному лицу о. Ивана, и Анна Александровна повела его домой, как ребенка.

— А может, это не он был... — говорила она, чтобы хоть чем-нибудь утешить старика.

— Нет, он... Я его узнал, — твердо ответил о. Иван. — Завтра уйду в свою Рязанскую губернию... умирать.

Душа проснулась

Еще с вечера честная братия маленького раскольниковского скита, затерявшегося в далекой и неприступной глуши Уральских гор, готовилась к чуду, повторявшемуся из года в год. Никто не знал об этом чуде, кроме братьев-инок, и они готовились к нему целонощной молитвой.

— Брат Касьян беспокоится, — сказал первым келарь Пафнутий. — Душа в нем начинает просыпаться...

Скит назывался «На Проталинке», потому что стоял на угре горного откоса, где из горы выбивался холодный ключик, не замерзавший зимой. Собственно говоря, это была небольшая, вросшая в землю избушка, разделенная внутри на три упокоя: в крайнем направо помещалась моленная, где днем и ночью шла упорная раскольниковская служба, в крайнем налево устроена была келарня, а в среднем братия работала и почивала. Всех инок было только пять человек, да и те едва тянулись. Бедный был скиток, и мало кто из раскольниковских милостивцев и доброхотов знал его, чтобы послать инокам подаяние. Случалось братии и голодать, особенно летом, когда в скит нельзя было пройти ни конному, ни пешему — не пускали болота. Что успевали запасти с зимы, тем и были сыты до осени. Трудно приходилось братии, и давно бы она разбрелась в разные стороны, если бы не брат Касьян.

Последним пришел в скит брат Касьян, и с ним пришла в скит великая милость Господня, подкрепившая пустынножителей. Больше всех полюбился ему келарь Пафнутий, и

Касьян проживал всю зиму в келарне. Он не выходил на общую молитву всю зиму, ни с кем не говорил и молча сидел где-нибудь в уголке. Пищу принимал редко, и только из рук одного Пафнутия.

Итак, все готовились к чуду.

Стояла весенняя ночь, какая только бывает в такой лесной глуши. Мохнатые серые ели пустили уже свои зеленые лапки, почки на березах и осинах разбухли, из-под быстро тающего снега выглянули желтыми глазками анемоны, кое-где на проталинках высыпала яркая зелень. Смешанный лес облегал кругом, скрывая под своей столетней сенью тихую обитель. Но этот лес оживал только ночью, начиная с вечерней зари, когда начинала играть всякая птичка. О, это было великое чудо... Вся тварь ликовала. Пролетала с теплого моря перелетная птичка и хлопотала больше всех. В скиту всю ночь шла служба, слышалось тихое иноческое пение, и лес пел тысячью голосов, как живой.

А брат Касьян лежал на своей лавочке в келарне и слушал. Иногда он поднимал голову и широко раскрытыми глазами смотрел в окно.

– Брат Касьян, близится час великой милости... – повторял келарь Пафнутий. – Пролилась вода с гор, налетела всякая пташка из-за теплого моря, пора и тебе воспрянуть!..

Брат Касьян только вздрагивал и закрывал глаза. Исхудал он за зиму, в чем душа держалась, и оставались живыми одни серые глаза...

Близилось утро. На востоке по небу легли утренние отбелы. Где-то незримо наливался ликующий утренний свет, а тьма исчезала. Меркли желтые огоньки скитских свеч, кончалась иноческая служба, поднималось весеннее солнце.

– Пора... – сказал келарь Пафнутий.

Вышла братия из моленной и стопилась у выхода. Пафнутий ушел в келарню и вышел оттуда вместе с братом Касьяном. Бледен был Касьян и едва мог держаться на ногах. Его подхватили под руки и повели по скитской тропе к ключику, у которого земля прогрелась и зеленела весенней травкой. Касьян шел с закрытыми глазами и открыл их только тогда, когда раздалось иноческое пение. Он с удивлением посмотрел кругом, как проснувшийся от тяжелого сна человек. На щеке повисла слеза.

– Брат Касьян, слышишь ли?

– Слышу... Был мертв и ожил.

Иноки плакали от умиления, плакал и Касьян: к нему вернулась жизнь. Он видел и слышал и мог говорить и удивлялся. Неужели прошла целая зима? Живая душа вернулась в это изможденное тело, как перелетная птица в старое гнездо. Брат Касьян мог теперь молиться и славить Бога.

Каждую весну повторялось это чудо, и все лето брат Касьян оставался здоровым. Молился вместе с другими, пел и читал, работал; а с первым снегом его душа засыпала на всю зиму. Что с ним было в это время – он никому не рассказывал.

Да, чудо свершилось, и братия шла в келью, оставив Касьяна одного, чтобы он на вольном воздухе мог отойти. Не нужно было мешать...

Обыкновенно целый день брат Касьян проводил на молитве. Так было и теперь.

Вечерело. От леса потянулись длинные тени. Воздух похолодел. Солнце быстро клонилось на закат, а Касьян все еще стоял на молитве.

– Нужно его позвать, – сказали иноки келарю Пафнутию.

Келарь пошел на проталинку, а брат Касьян лежит ничком мертвый.

Душа проснулась в последний раз, чтобы больше не засыпать...

Скит развалился. Братия разошлась. Осталась у горного ключика только одна могилка брата Касьяна. Каждую весну к ней идут со всех сторон благочестивые люди, чтобы вспомнить о том, что все мы – только короткие гости на земле, что у всех спит душа и что есть другая жизнь...

1899.

Методические рекомендации

Тематический план лекций

1. Романное творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка. Тип социального романа. Цикл уральских «горнозаводских» романов. Духовные искания интеллигенции и их отражение в романах писателя (2 ч.).
2. Типология малой прозы Д. Н. Мамина-Сибиряка. Особенности циклизации. Циклы первичные и вторичные. Циклы «Уральских» и «Сибирских» рассказов. Рассказы о детях и для детей (4 ч.).
3. Религиозные мотивы в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка. Феномен христианской молитвы. Черты русской ментальности. Отражение этики и культуры старообрядчества. Идея родовой памяти в творчестве писателя (2 ч.).
4. Идиостиль Д. Н. Мамина-Сибиряка. Использование народной и диалектной лексики. Языковое мастерство. Особенности использования приема художественного сравнения (2 ч.).

Разработка лекции

«Религиозные мотивы в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка»

Читатели 30–90-х годов прошлого столетия, за редким исключением, знали «усеченного» Мамина. По идеологическим соображениям не публиковались его произведения с православной тематикой. Между тем, воспитанный в семье верующих родителей, Мамин-Сибиряк не причастен к дехристианизации, захватившей, по наблюдениям философа Николая Бердяева, какую-то часть русской интеллигенции еще со времен Белинского. Мамин был убежден, что девятисотлетняя (к концу XIX века) история христианства на Руси не могла не

оставить следов в духовной жизни народа. Так, русский человек страшится умереть без церковного покаяния. На этом построен не переиздававшийся в советское время рассказ «Исповедь». Кстати, это первое произведение писателя, переведенное на европейский (французский) язык. Правда, тот же русский мужик в силу характерной для него антиномичности (сочетания взаимоисключающих черт) охотно слушает и сочиняет «срамные» анекдоты «про попа, попадью, да попову дочку». При всем том «поп, толоконный лоб», деревенский дьячок – тупица и пьяница – фигуры не маминские. Писателю близок дьячок – мастер на все руки, как дьячок Арефа в повести «Охонины брови», висимский дьячок Николай Матвеевич, охотник и философ (рассказ «Зеленые горы») и близкий им деревенский дьячок Матвей Иваныч в рассказе «Старая реформа».

Остановимся подробнее на рассказе «Последняя треба» (1892). В жанровом отношении это рождественский рассказ, действие которого приурочено к важнейшему событию «евангельского» календаря – празднику Рождества и торжественной заутрене в честь этого праздника. Печальное известие об умирающей жене лесника Евтропа, неудачно разрешившейся родами, грозит серьезно осложнить праздничный ход церковной службы. Оставляя паству, священник местной церкви Савелий отправляется на заимку лесника, чтобы справить последнюю требу – принять «глухую исповедь» умирающей, вконец обессиленной женщины-роженицы, причастить ее и прочитать ей отходную. Именно к исполнению священнического долга, своего пасторского предназначения – этого поистине Божьего дела – и сводится центральный сюжет рассказа.

Реальность чуда – так можно было бы определить жанровый архетип рождественской истории. Разворачивающиеся реальные события, равно как и события календарного праздника, группируются вокруг единого сакрального центра деревянной церкви села Поломки – местного образа Богоматери, усердной заступницы всех нуждающихся и страждущих. Примечательно, что

сама церковь воспринимается священником как «родная мать».¹ В центре же этого сакрального пространства (пространства церкви) – местный образ Богоматери. Приводим его описание: «Он [поп Савелий] любил этот образ, – какой кроткий лик смотрел на паству, а тут еще предвечный Младенец с простертыми вперед руками» (с. 163). Кульминация рассказа – видение священника, которое в нарратологическом отношении подается, однако, как самая настоящая реальность. Предпринятая автором-повествователем нарративная стратегия такова, что до самого конца читатель так и не может однозначно расценить данный сюжетно-повествовательный ход: явь это или предсмертное видение попа Савелия? Выпишем концовку третьей главки:

Лысанка понеслась стрелой. Сейчас и обедню начинать. Слава Богу, все благополучно! А народ уже ждет попа в церкви. Только подъехали сани к ограде, как и колокол загудел. Поп Савелий быстро заходит в церковь и чувствует, как его охватывает живое тепло... Он идет прямо к местному образу, хочет помолиться и видит чудо: младенец Христос улыбается ему и протягивает руки... Страшно сделалось попу Савелию, жутко, а другие ничего не замечают и только смотрят на него.

– Смотрите... смотрите... – шепчет поп Савелий. – Великое чудо мне недостойному...

И все-таки никто не видит, и попу Савелию делается еще страшнее, а предвечный Младенец все улыбается и все тянет к нему простертыми вперед ручками (с. 172).

Описание чудесного видения, разворачивающегося в модусе сознания попа Савелия, настолько убедительно и очевидно, что представляется полной реальностью. Но реальность эта явно провиденциального характера, когда Божественное произволение воспринимается как ответная реакция на встречное движение к Богу самого человека. Более того, как показывает рассказ Мамина, онтология чуда подготавливается исподволь и, прежде всего, в словах самого автора, сливающихся с духовным откровением героя:

В ответ ему улыбнулось детское личико, полное такой большой материнской тревоги. Сейчас девочка уже не боялась попа. Он ей казался добрым... А поп смотрел на маленькую няньку и не чувствовал, как у него по лицу катились слезы. Господи, какая ночь, и какое вечное чудо творится кругом нас каждый час и каждую минуту, и как мы не замечаем

¹ Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Русская книга, 1999. С. 164. Далее все цитаты по этому изданию с указанием в тексте соответствующих страниц.

этого чуда... Разве жизнь кончается хоть на одно мгновенье?.. Вот и в этой девочке та же премудрость Божия, которая научает птицу вить свое гнездо, дикого зверя пестовать своих детенышей и несмышленного младенца заменять мать (с. 169).

Особую роль в рассказе играет мотив детскости, начиная с описания святого младенца Христа на храмовой иконе и вплоть до самого финала, когда скорчившийся в креслах поп Савелий «казался таким маленьким». Как сказано у Мамина, он «лежал в креслах с блаженно счастливым лицом, как тихо заснувший ребенок» (с. 176). Сравнение с ребенком получает особый смысл в контексте известного евангельского изречения Христа: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф., 18: 3). С детскостью связана еще одна черта попа Савелия – его простота, что подчеркивается как в речи повествователя («престец, а не поп», с. 161), так и в репликах баб – прихожанок храма («И поп нас простой...»; «Простой, на что проще...», с. 173). Простота главного героя оборачивается жалостью и состраданием к своей деревенской пастве, а также самоотверженной, жертвенной любовью во имя ближних. Именно за такую бескорыстную службу, верность своему священническому долгу награждается поп Савелий со стороны Матушки Заступницы чудным видением (ср.: «Великое чудо мне недостойному...»).

В связи с вышесказанным проясняется символический смысл заглавия рождественского рассказа, в котором сходится целая система значений: согласно словарю В. И. Даля, треба – это «отправление таинства или священного обряда»; «Св. причастие, кровь и плоть Христова, запасные дары»; «жертва, приношение, жертвоприношение». Именно «жертвенная» семантика последней требы объясняет духовный подвиг отца Савелия, подчеркивая христианский смысл его праведнической кончины.

Еще одно немаловажное обстоятельство: действие маминского рассказа начинается и заканчивается в сельском храме, сакральном пространстве, объединяющем всех верующих прихожан в единую семью, некую соборную целостность. Речь, таким образом, идет не просто об отдельных личностях (поп

Савелий, потерявший жену лесник Евтроп, умудренный опытом старик церковный староста, все прочие лесные мужики и бабы), но именно о соборной общности людей, о духовном коллективе, сплоченном общей христианской моралью. Отмеченная особенность взгляда художника фокусирует внимание на такой сущностной черте русского мировоззрения, которую С. Л. Франк справедливо усматривал в «мы-философии» (в противоположность «я-философии» Запада), в присущем русскому народу чувстве соборности, в сознании русской церкви.

Приведенный в хрестоматии текст Мамина «Душа проснулась» (авторское жанровое обозначение «эскиз») – образец духовной прозы, своего рода стихотворение в прозе. Эскиз был напечатан впервые в № 15 «Нашего времени» за 1893 г., позднее перепечатан в сборнике «Святочных рассказов» (СПб., 1898). Последнее издание – в составе 12-го тома Полного собрания сочинений, подготовленного издательством «Т-ва А. Ф. Маркс» в 1917 г.

Эскиз примечателен в нескольких отношениях. Во-первых, установкой на ожидание и переживание чуда, его онтологическую реальность, что уже знакомо нам по рождественскому рассказу «Последняя треба». Только в данном случае речь идет о пасхальной истории, связанной с оживлением души расслабленного инока-раскольника Касьяна. Отметим лейтмотивную структуру «чудесного» сюжета: «Еще с вечера честная братия маленького раскольникового скита... готовилась к чуду...»; «Никто не знал об этом чуде, кроме братьев-инок...»; «Итак, все готовились к чуду»; «О, это было великое чудо...»; «Каждую весну повторялось это чудо...»; «Да, чудо свершилось...».

Вот она, кульминация рассказа – обмен реплик келаря Пафнутия и брата Касьяна:

- Брат Касьян, слышишь ли?
- Слышу... Был мертв и ожил.

Цитируемое в данном фрагменте текста изречение «Был мертв и ожил» прямо уводит к концовке евангельской притчи о блудном сыне (Лук., 15: 24).

Смысл его – в воскрешении согрешившей и раскаявшейся души к новой, вечной жизни. Именно оно и уподобляется настоящему, истинному чуду!

Во-вторых, в рассматриваемой философской миниатюре Мамина обращает на себя внимание параллелизм картин природы и событий душевно-психологического мира. Не случайно автором подчеркивается временной рубеж оживания души: весенняя ночь, которая сменяется «ликующим утренним светом», восходящим весенним солнцем; высыпавшая на проталинках яркая зелень и играющая в поднебесье перелетная птичка. Поющий тысячью голосов лес сливается с тихим иноческим пением. Лес при этом характеризуется «как живой», что закономерно подготавливает пробуждение от сна души инока Касьяна.

Сюжет оживания души подкрепляется особо колоритным «одухотворяющим» сравнением героя с птицей: «Иноки плакали от умиления, плакал и Касьян: к нему вернулась жизнь. Он видел и слышал и мог говорить и удивляться. Неужели прошла целая зима? Живая душа вернулась в это изможденное тело, как *перелетная птица в старое гнездо*. Брат Касьян мог теперь молиться и славить Бога». Данный фрагмент текста, как мы можем догадываться, перекликается с известной песней-романсом В. А. Жуковского «Весеннее чувство»: «Чем опять душа полна? / Что опять в ней пробудилось? / Что с тобой к ней возвратилось, / Перелетная весна?» Однако, как показывают наблюдения над другими произведениями писателя, мотив-сравнение человека с птицей представляется не просто сверхчастотным, но, пожалуй, даже личностно-архетипическим для Мамина-художника. Вот только несколько примеров: Груня «затрепетала, словно *подстреленная молоденькая птичка*», «Словно *птица в клетке*, забилося у Архипа сердце...» («В водовороте страстей»); «Агния Ефимовна очутилась на полной воле, как *выпущенная из клетки птица*» («Пир горой»); «Маремьяна Власьевна вся почти насторожилась, как *птица над своим гнездом*» («В последний раз»); Мосевна «бросается к ногам лошади и бьется, как *подстреленная птица*» («Бабий грех»); «Ему вдруг стало жаль вот эту несчастную, которая, как *ночная птица*,

летела на окно, освещенное чужим светом» («Нимфа»); «Придет сюда и *как птица* бьется у могилки!» («Божий огород»); «И час, и два прошло, а она все на могилке, как *птица над своим гнездом*» («Аннушка»); «Его вдруг охватила та щемящая тоска, которая овладевает *попавшеюся в клетку вольною птицей*. Это была живая могила» («Великий грешник»).

Ведя разговор о религиозных мотивах в творчестве Мамина-Сибиряка, нельзя обойти вниманием еще один момент: наряду с официально принятым православием писателя интересовало столь неординарное явление, как русское старообрядчество. Вообще отношение Мамина к старообрядчеству было неоднозначным. От изображения внешней, обрядовой стороны раскольников (к примеру, порядки на половине Марьи Степановны в доме Бахаревых в романе «Приваловские миллионы») писатель переходит к осмыслению старообрядчества на уровне «цельного мирозерцания». Принципиальное значение приобретает рассказ «Великий грешник», в особенности «канун на помин души», который раскольниковый архиерей Кирилл читает ночью перед сокамерниками. Привлекательно в этой «программе» утверждение чистоты нравов, трудолюбия, твердости, стойкости. Однакостораживает фанатическая приверженность к устаревшим догмам, которая переходит в отрицание цивилизации и культуры. В число «антихристовых деяний» раскольниковый старец включает паспорт («антихристову бумагу»), падение нравов и технику, облегчающую труд человека. «Всенародно бесоугодные пляски творятся оголенным женским полом, <...> а не своею волею мучатся: льстец их голодом донимает. Тоже есть хотят миленькие горемыки <...> И еще скажу другое: работать никто не хочет... Все боярили бы да легкий хлеб ели... Машинами хотят лень свою утешить: машина пусть работает, а я буду песни петь да радоваться. Да... Тут тебе беси машинами ворочают, тут беси в зломерзкие трубы перекликаются, визжат неистово, огонь с неба низводят... О, горе душам нашим!»

Жизнь в столице не сближает Мамина-Сибиряка с рабочим движением и социал-демократией. Он остается просветителем, демократом и гуманистом.

Никаких социальных проблем нет в рассказе «Ранний батюшка» – есть простое человеческое сострадание. Читателя трогает история старенького отца Ивана, преданного своим разбогатевшим сыном. Похоже, писатель принимает лишь одну форму бунта – это бунт женщины против домашнего деспотизма. Эмансипация, как порождение эпохи 1860-х годов, затронула какую-то часть разночинной и дворянской интеллигенции, однако не повлияла на судьбу простой русской бабы. Лишенная материальных прав, она все также остается во власти мужа. В крестьянских семьях баба «виновата во всем», на ней вымещаются любые неудачи, она «виновата» и тогда, когда сама оказывается жертвой насилия. Как раз об этом написан удивительный по глубине постижения нравов оренбургской казачьей станицы рассказ «Бабий грех».

Чтобы отстоять себя, русские женщины и девушки, которые страшатся замужества, уходят, по Мамину, не в революционное движение, но в монастырь. После неожиданной смерти деспота-мужа героиня рассказа «Я... я... я...» поселяется в Девьей обители. Смышленая работающая Фимушка скоро приживается в монастыре, приобретает известность «блаженненькой» и «прозорливицы», однако не обретает христианской кротости. Тех деревенских баб, которые приходят к ней за сочувствием, она обрывает на полуслове: «А вы больше терпите, глупые, пока дух не вышибли. Видно, мало вас бьют мужья-то». Всех бесов, «приставленных к человеку», она считала тысячами и олицетворяла их в «мужеске поле». Когда в монастыре наступали моменты раскаяния, Фимушка одна оставалась нераскаянной. В ней затаилась неистребимая ненависть к мужику, сосредоточившаяся на этом последнем пункте, как в фокусе. «Все баба, как баба, а как увидела мужика – и остервенилась». Если это протест во имя личности, то самый дикий, неуправляемый, на какой бывает способен русский человек.

К концу первого десятилетия XX века новые произведения Мамина-Сибиряка появляются все реже. Подводит здоровье, дает знать о себе известная отдаленность от столичных литературных кругов. Тем дороже яркие проявления таланта в поздних произведениях писателя. В рассказе

«Пустынька» сохраняется то уважительное отношение к человеку из «низов», которое отличало Мамина от современных ему беллетристов. «Пустынька» – своего рода «драма на природе», участниками которой оказываются обитатели питерских мансард и подвалов. Трубочист Егор Иваныч, сапожник Митрич, маляр Евстрат, типографский рабочий Галах и сожительница Егора Иваныча Дарья Семеновна с наступлением теплых дней переселяются на Пустыньку – живописное лесное местечко под Петербургом.

Мирная жизнь в лесу с ее скромными радостями в виде грибов, ягод и рыбы разрушается со смертью бесприютной Аннушки, прибившейся к компании этих небогатых, но в общем-то добрых людей. Из ложной ревности Дарья Семеновна отравила неповинную Аннушку, да и не нашла себе покоя. Тотчас же почувствовала отчуждение окружающих, а по ночам ей казалось, что «в лесу кто-то крадется осторожными шагами... И не мужские шаги, а женские. Это была она... Да, ее непокаянная душенька бродила по лесу <...> Дарье Семеновне делалось страшно, а по спине бежала холодная дрожь». Не помогает ни заступничество Егора Иваныча, ни чистосердечное признание. Судебный доктор не находит в случившемся состава преступления, и Дарью Семеновну признают «впавшей в малоумие», а дело об «убиенной» Аннушке передается канцелярскому забвению: «мало ли около Петербурга бродяг пропадает». Отсутствие наказания маминские преступники воспринимают как самое большое наказание.

Известная ситуация «Бог простит, суд не осудит, да я себе не прощу», в принципе близкая душевной драме Феди Протасова в пьесе Льва Толстого «Живой труп», без какой-либо нарочитости переносится Маминым в среду питерских бедняков. В русской прозе 30–40-х годов минувшего столетия общечеловеческий мотив любви-страсти Михаил Шолохов раскрывает на материале жизни донского казачества; мучительные поиски «каменного цветка», символизирующего абсолютный идеал в искусстве, Павел Бажов доверяет не профессиональному художнику, но уральскому камнерезу Даниле.

В этом смысле возможен разговор о творческих уроках Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Литература

1. *Мамин-Сибиряк Д. Н.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Русская книга, 1999.
2. *Дергачев И. А.* Д. Н. Мамин-Сибиряк: Личность. Творчество. Критико-биографический очерк. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во. 1981.
3. *Зырянов О. В.* Русская литературная классика в этноконфессиональной проекции (к проблеме соотношения общенационального и регионального) // Уральский исторический вестник. 2011. № 4 (33). С. 4-12.
4. *Зырянов О. В.* Живой Мамин // Урал. 2012. № 11. С. 194-203.
5. *Слобожанинова Л. М.* Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка с позиций гуманизма // Филологический класс. 2012. № 4 (30). С. 46-51.
6. Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка в контексте русской литературы: Материалы научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка, 4-5 ноября 2002. Екатеринбург, 2003.
7. *Щенников Г. К.* Д. Н. Мамин-Сибиряк // Литература Урала: Очерки и портреты: Кн. для учителя / Под ред. Е. К. Созиной и Н. Л. Лейдермана. Екатеринбург, 1998.